

Grzegorz Przebinda
Uniwersytet Jagielloński

СОКРАТ ИЗ БЕРДИЧЕВА
— ЖИЗНЬ И СУДЬБА ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

Василий Гроссман (1905–1964) вошел в историю литературы прежде всего как автор двух романов, которые можно смело — как я теперь считаю, после их прочтения заново в 2010 г., — причислить к шедеврам русской прозы XIX и XX века¹. Первое из этих произведений — повесть *Все течет...* — было создано в 1955–1963 годах, а второе — эпопея *Жизнь и судьба* — после завершения в 1960 году сразу же было осуждено в СССР на уничтожение. И это несмотря на факт, что сам автор рассматривал свою книгу как венец «сталинградской дилогии», начало которой было положено романом *За правое дело*, изданным в Советском Союзе, хотя и с большими проблемами и лишь частично, в журнале «Новый мир» в 1952 году (публикация совпала по времени с апогеем

¹ Статья представляет собой русский, расширенный вариант текста, который был впервые опубликован по-польски в 2009 г. — G. Przebinda: *Sokrates z Berdyczowa. Życie i los Wasyla Grossmana*. XV Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: *Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego*. Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego 2009, с. 347–363. В Польше первым о Гроссмане писал Анджей Дравич во вдумчивом эссе *...Но быть добрым (Василий Гроссман)* — A. Drawicz: *...Lecz dobrym być*. W: tegoż: *Zaproszenie do podróży. Szkice o literaturze rosyjskiej XX wieku*. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, с. 172–192. В то время два наиболее значительных произведения писателя не были еще опубликованы. Следующие польские публикации о Гроссмане — ценные труды Кристины Петшицкой-Богосевич — K. Pietrzycka-Bohosiewicz: «*Bóg jest zbyt bezsilny, aby zmniejszyć zło życia...*» (*Wasilij Grossman*), а также *Wasilij Grossman. W poszukiwaniu prawdy*. Первая статья была опубликована в 1993 году в сборнике *Emigracja i samizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej*, вторая — в 1996 году в сборнике *Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich* (обе публикации вышли под редакцией Луциана Суханека в Кракове в издательстве «Universitas»). Существует также первая польская попытка монографии о писателе и его эпохе — W. Olbrych: *Wasilij Grossman. Dramat humanisty w świecie cywilizacji totalitarnej*. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2004.

«борьбы с космополитизмом»², поэтому роман был фактически разгромлен услужливыми советскими критиками³).

Хотя Гроссман публиковался в СССР начиная с 1934 года, за всю сталинскую эпоху он не написал ни одного произведения, которого впоследствии мог бы стыдиться. Безусловно, поскольку писателю пришлось жить и творить в такой атмосфере и в такой стране, он вынужден был идти на определенные компромиссы с властью, потребовавшей, к примеру, изменить название упомянутого выше произведения: роман *За правое дело* в авторской версии должен был называться *Сталинград*, поскольку Гроссман был в этом городе в качестве военного корреспондента. Тем не менее, поскольку подготовка романа к изданию совпала по времени с подготовкой к проведению очередной сталинской кампании — сфабрикованного дела «еврейских врачей-убийц» — еврей-писателю было отказано в праве говорить «от имени народа». Поддавшись уговорам Александра Твардовского, действовавшего из лучших побуждений и хотевшего издать произведение Гроссмана в журнале «Новый мир» (и опубликовал-таки!), автор вставил в повесть достаточно среднюю с точки зрения литературной ценности главу о Сталине.

Следует также отметить, что Гроссман, впоследствии один из наиболее убежденных и последовательных антиленинистов, будучи уже в достаточно зрелом возрасте, похоже, «любил Ленина», как, впрочем, и большинство граждан Страны Советов. По крайней мере, так вспоминал об этом хорошо знавший Гроссмана еще со времен войны и поддерживавший с ним контакт и в послевоенные годы Илья Эренбург. Кстати, оба писателя занимались подготовкой знаменитой *Черной книги* (1946; опубликована на русском языке лишь в 1980 г. в Иерусалиме⁴)

² Об этом мрачном периоде в послевоенной истории СССР ср. современную публикацию — Г. Костыренко: *Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР*. Москва: Росспэн 2009. См. также: А. Lustiger: *Czerwona księga. Stalin i Żydzi. Tragiczna historia Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego*. Przeł. E. Kaźmierczak, W. Leder. Warszawa: WAB 2004.

³ О происхождении романа, его публикации и совместных контракциях власти и критиков против Гроссмана см. С. Липкин: *Жизнь и судьба Василия Гроссмана*. Москва: Книга 1990, с. 18–33. Ср. также: А. Бочаров: *Василий Гроссман. Жизнь, творчество, судьба*. Москва: Советский писатель 1990, с. 164–176.

⁴ *Черная книга. О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях уничтожения Польши в время войны 1941–1945 гг.* Сост. и ред. В. Гроссман, И. Эренбург. Иерусалим: Тарбут 1980. В 1991 г. она публиковалась два раза на Украине — впервые в Киеве в издательстве МИП «Обериг», а потом, уже тиражом в 50 000 экземпляров, в Запорожье в издательстве СП «Интербук». Запорожский центр. Два года спустя (1993) она увидела свет также в Вильносе в издательстве JAD. В Российской Федерации, как раньше в СССР, она до сих пор не издавалась.

— каталога преступлений нацистов против евреев в Восточной Европе. Этот фундаментальный труд не только не был замечен, как следует, сразу после публикации, но и даже сегодня не пользуется заслуженной известностью ни на родине писателя, ни в соседних странах (Украина, Беларусь, Литва, Эстония, Польша). И это несмотря на то, что есть в нем шокирующие главы и фрагменты, описывающие созданную нацистами цивилизацию концентрационных лагерей — в Западной Эстонии у Финского залива (концлагерь «Клоога»), в Литве (концлагерь «Понары»), в Польше (концлагерь «Треблинка», «Аушвиц»). Если бы сегодня польский, например, читатель взял, наконец, в руки перевод *Черной книги*, то, без сомнения, со слезами на глазах перечитывал бы фрагменты *Треблинка*, *Дети с черной дороги*, *Восстание в Собиборе*, *Освенцим*, *Восстание в Варшавском гетто...*

Бердичев, год 1920

Гроссман-писатель и Гроссман-человек был всегда честен с людьми. «Человек среди людей» — как его назвал справедливо критик Лазарь Лазарев⁵. Даже произведения, написанные в 1930-е годы — хотя бы рассказ *В городе Бердичеве* (1934) или неоконченный производственный роман *Степан Кольчугин* (1937–1940) — могут и сегодня вызывать неподдельный интерес не только у историков литературы. С самого начала своего творческого пути Гроссман обращался к темам все менее угодным властям, открыто выступая в защиту свободы. Появившись на свет в еврейской семье в украинском Бердичеве, Василий Гроссман одно из первых своих произведений — по собственному признанию, настоящий дебют в литературе — рассказ *В городе Бердичеве* — посвятил именно этому городу и событиям на Украине во время польско-советской войны 1920 года. Многонациональный и поликультурный Бердичев, где когда-то старались мирно сосуществовать иудеи и католики, православные и протестанты, в 1918–1920 годах стал ареной кровавых событий, непосредственным свидетелем которых были мать и сын Гроссманы:

Все знали это, так как город четырнадцать раз переходил из рук в руки и его занимали петлюровцы, денкинцы, большевики, галичане, поляки, банды Тютюника и Маруси, сумасшедший «ничей» девятый полк. И каждый раз это было как в предыдущий⁶.

⁵ Л. Лазарев: *Человек среди людей. О Василии Гроссмане*. W: В. Гроссман: *В городе Бердичеве. Несколько печальных дней. Повести и рассказы*. Москва: Современник 1989, с. 3.

⁶ В. Гроссман: *В городе Бердичеве. Несколько печальных дней. Повести и рассказы*. Москва: Современник 1989, с. 60.

Рассказ *В городе Бердичеве* был опубликован в 1934 в «Литературной газете» и сразу же был высоко оценен такими разными и непохожими друг на друга писателями, как Максим Горький, Исаак Бабель и Михаил Булгаков. И сегодня также — несмотря на то, что Гроссман впоследствии создал достаточно куда более значительных произведений — этот рассказ сильно отличается стройной композиционностью, струящимся, насыщенным языком («сказ») и, безусловно, неповторимым «гроссмановским» посланием. Главная героиня — красный комиссар-кавалерист Клавдия Вавилова — забеременела от соратника по борьбе, и, будучи в самой гуще сражений с поляками под Грубешовым, не нашла времени на аборт:

— Я бы его извела, — басом сказала она, — да запустила, сам знаешь, под Грубешовым три месяца с коня не слезала. А приехала в госпиталь, доктор уже не берет.

Она потянула носом, будто собираясь заплакать.

— Я ему и маузером, окаянному, грозила, — отказывается, — поздно, говорит⁷.

Отец ребенка погиб в сражениях с поляками, а сама Клавдия, будучи уже на сносях, была вынуждена просить немало удивленное случившимся начальство («даже голос у нее не бабий, а выходит, природа берет свое») об отпуске. Получив его, Клавдия находит убежище на время родов именно в Бердичеве, в доме многодетного еврея-ремесленника Хаима-Абрама Лейбовича-Магазаника. Весьма трогательны описания разговоров железной 36-летней комиссар Вавиловой с красавицей Бэйлой Магазаник, родившей Хаиму кучу ребятишек («семь оборванных кудрявых ангелов») и всегда бывшей верной и работающей женой и нежной матерью. Сейчас же ей выпало учить настоящей жизни убежденную коммунистку, думающую только о фронте:

— Рожать детей, — сказала она, — вы думаете, что это просто, как война: пиф-паф и готово. Ну нет, извините, это не так просто⁸.

Сам Гроссман до 1941 года не ощущал себя евреем, но как писатель был, несомненно, чуток к эстетической красоте и этической силе иудаизма, что и нашло отражение в той эмпатии, с которой он описывал евреев Бердичева, возвращающихся из синагоги со свертками с молитвенной одеждой под мышкой, худеньких еврейских девушек, шелкавших семечки и улыбающихся во весь рот красавцам-красноармейцам,

⁷ Там же, с. 48.

⁸ Там же, с. 52.

устанавливавшими в городе свою власть. Эта же эмпатия — в описании еврейского базара под названием Ятки, где и стоял дом Магазаников:

Весь день на Ятках кипел котел: мужики торговали белыми, точно вымазанными мелом березовыми дровами, бабы шуршали венками лука, старухи еврейки сидели над пухлыми холмами связанных за лапки гусей. Торговка выдергивала из этого пышного белого цветка живой лепесток с извивающейся шейей, а покупательницы дули на нежный пух меж лап и щупали жир, желтевший под теплой мягкой кожей. [...]

Народ продавал, покупал, щупал, пробовал, подымая глубокомысленно глаза вверх, точно ожидая, что с голубого нежного неба кто-нибудь посоветует, покупать ли щуку или лучше взять карпа. И при этом все пронзительно кричали, божились, ругали друг друга, смеялись⁹.

А также оставались — тоже естественно, по-людски, — равнодушны к еврею-нищему, слепцу с белой бородой волшебника, который молился и жалобно плакал, протягивая в молитвенном жесте руки в ожидании милостыни:

[...] но его страшное горе никого не трогало — все равнодушно проходили мимо. Баба, оторвав от венка самую маленькую луковку, бросила ее в жестяную мисочку старика. Тот ощупал луковку и, перестав молиться, сердито сказал: «Щоб тобі диты так на старость даваль», — и снова протяжно запел древнюю, как еврейский народ, молитву¹⁰.

Комиссар Вавилова сразу же после родов почувствовала себя матерью и, когда в доме никого не было, «тихонько напевала человечку песни, человечка назвали Алеша, Алешенька, Алеша»:

— Ты бы посмотрел, — говорила Бэйла мужу, — эта кацапка с ума сошла. Три раза она уже бегала с ним к доктору. В доме нельзя дверь открыть: то оно простудится, то его разбудят, то у него жар. Как хорошая еврейская мать, одним словом.

— Что ты думаешь, — отвечал Магазаник, — если женщина одевает кожаные штаны, она от этого становится мужчиной? — и он пожимал плечами и закрывал глаза¹¹.

Вскоре, однако, голос крови, зовущий Клавдию Вавилу на «справедливую войну», взял свое. Сначала она услышала рокот вражеских аэропланов с бело-красными кругами на крыльях, а затем и песню молодых добровольцев-курсантов, идущих из Бердичева на битву с поляками. И она, бросив навсегда сыночка Алешу, надела мундир,

⁹ Там же, с. 51.

¹⁰ Там же, с. 51.

¹¹ Там же, с. 57.

схватила маузер и бегом устремилась за рядами добровольцев, идущих на фронт. Алеша — без какой-либо просьбы со стороны матери — остался на попечении верной семье и детям Бэйлы Магазаник. Создавая рассказ, Гроссман не знал еще, как выйти из такой трудной ситуации, в которой оказались его герои: или хвалить Вавилону за «гражданскую позицию», или осудить ее, как мать, бросившую сына. Поэтому писатель воздержался и выбрал промежуточное решение, несомненно, позволившее опубликовать произведение и одновременно не мешавшее позиционированию себя как писателя-гуманиста, каковым он стремился быть с начала и до конца:

Магазаники видели, как по улице вслед курсантам бежала женщина в папаче и шинели, на ходу закладывая обойму в большой тусклый маузер.

Магазаник, глядя ей вслед, произнес:

— Вот такие люди были когда-то в Бунде. Это настоящие люди, Бэйла. А мы разве люди? Мы навоз.

Проснувшийся Алеша плакал и бил ножками, стараясь развернуть пеленки. И придя в себя, Бэйла сказала мужу:

— Слышишь, дите проснулось. Разведи лучше примус, надо нагреть молоко.

Отряд скрылся за поворотом улицы¹².

Самым понятным диагнозом тогдашней переходной ситуации жителей Бердичева, особенно евреев, стали вот такие слова прямолинейного Магазаника:

— Сказать вам правду, — говорил Магазаник, — так это самое лучшее время для людей: одна власть ушла, другая не пришла. Ни тебе реквизиций, ни тебе контрибуций, ни тебе погромов¹³.

Однако, такая идиллия продолжалась в Бердичеве на Волыни весьма недолго.

Поверьте пифагорейцам

Однако, по-настоящему большим писателем Гроссман стал лишь во время Великой Отечественной войны (1941–1945), как чувствительный репортер и глубокий мыслитель, известный широко в стране, а скоро также за рубежом¹⁴. Известность пришла после публикации потря-

¹² Там же, с. 61–62.

¹³ Там же, с. 59.

¹⁴ Гроссман публиковал свои репортажи в военной газете «Красная звезда», а сразу после капитуляции нацистской Германии они были изданы в Москве в сборнике

сающего рассказа *Треблинский ад* (1944), который распространялся в качестве обвинительной брошюры на Нюрнбергском процессе. Анджей Дравич в 1968 году написал, что вся мировая антифашистская литература, возможно, не знает произведения, обладающего подобной силой, источником которой является святая страсть гуманиста, своими глазами видевшего, на что способны люди по отношению к людям¹⁵. Еще до войны Гроссман написал пьесу *Если верить пифагорейцам*, которую должны были поставить еще в качестве репетиции («читка») в понедельник 23 июня 1941 года в московском Театре Вахтангова. Однако, в предыдущее воскресенье, 22 июня 1941 года, нацистская Германия приступила к реализации плана блиц-крига «Барбаросса»¹⁶, и афиши спектакля были сняты практически под немецкими бомбами. Изменился и срок публикации произведения — пьеса вышла в 1946 году, в июльском номере московского журнала «Знамя»¹⁷. В этом произведении Гроссман отказался от своей прежней веры в большие возможности «доброй деятельности» и заявил о согласии с пифагорейским тезисом о цикличности деяний, в которых, к сожалению, по большому счету, постоянно повторяется зло. Главный герой пьесы — ученый-артиллерист Николай Шатавской — еще во времена царской России совершил весьма полезное открытие, которое не нашло применения в загнивавшей империи. Поэтому он очень рассчитывает на новый социалистический порядок и на пламенного революционера Монахова. Однако и этот идейный деятель с течением времени также становится оппортунистом и тупым бюрократом. Обобщающий тезис, предложенный Гроссманом, был следующим: зло в царской России

Годы войны (1945 и 1946). Тогда же издавались и польские переводы военной прозы Гроссмана — W. Grossman: *Lata wojny (1941–1945)*. Moskwa: Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych 1946; tenże: *Naród jest nieśmiertelny*. Przeł. H. Wolpe. Warszawa: Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej 1951. Только совсем недавно по-английски был опубликован обширный том военных репортажей Гроссмана (также тех, которых в свое время не пропустила цензура) и ряда очень интересных архивных материалов — *Writer at War: Vasily Grossman with the Red Army 1941–1945*. Translated and Edited by Antony Beevor and Luba Vinogradova. London: The Harvill Press, Random House 2005. Эта замечательная книга тоже была сразу издана по-польски — *Pisarz na wojnie. Wasilij Grossman na szlaku bojowym Armii Czerwonej 1941–1945*. Opracowanie A. Beevor, L. Winogradowa. Przeł. M. Antosiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Magnum 2006. Об этой публикации см. G. Przebinda: *Wasyła Grossmana apologia*, «Tygodnik Powszechny» nr 27 (3078), 6 VII 2008, с. XII–XIII [„Książki w Tygodniku”, 2008, nr 7–8].

¹⁵ А. Дравич: *...Lecz dobrym być*. W: того же: *Zaproszenie do podróży. Szkice o literaturze rosyjskiej XX wieku*. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, с. 184.

¹⁶ Так Гитлер назвал план атаки на СССР, ссылаясь при помощи такого криптонима на Фридриха I Барбароссу (Рыжебородого), императора Германской Священной Римской Империи в 1155–1190 годах, организатора третьего крестового похода.

¹⁷ В. Гроссман: *Если верить пифагорейцам*, «Знамя» 1946, nr 7, с. 68–107.

и в СССР — повторяющееся, и это, естественно, соответствовало «теории циклов» пифагорейцев (хотя в действительности писатель не мог принять их мировоззрения полностью, к примеру, известную «мистику цифр»). Усугубляющийся пессимизм Гроссмана¹⁸ не соответствовал официальной точке зрения на события, наиболее точно выраженной еще в 1932 году в *Оптимистической трагедии* Всеволода Вишневского и позднее многократно усиленной победой над Гитлером¹⁹. Поэтому за якобы «пифагорейца» Гроссмана взялись основательно — как некогда за Михаила Булгакова (ум. в 1940 году) — всевозможные прислужники режима, не оставив на писателе сухой нитки. Один из них, заядлый псевдокритик Владимир Ермилов (1904–1965), опубликовал в «Правде» статью, в которой назвал пьесу Гроссмана незаконнорожденным произведением, нигилистическим пасквилем²⁰.

„И я верю в неминувность свободы”...

Во всей русской литературе XX века нет произведения, так сильно связанного с судьбами России, как динамичная — уже в самом названии — повесть *Все течет*... Она писалась в течение восьми лет, главным образом в Москве, непосредственно во времена хрущевской «оттепели», но Гроссман не мог рассчитывать, что даже в этих новых условиях его произведение будет опубликовано. Поэтому он писал «в ящик», причем особенно активно после исключительно черного для себя 1960 года, когда КГБ конфисковал рукопись эпопеи *Жизнь и судьба* — одного из самых важных романов европейской литературы XX века. Дописывая концовку повести *Все течет*..., Гроссман признавался в одном из писем, что у него «желание труда такое же неразумное, как и инстинкт жизни, такое же иррациональное и непобедимое»²¹. В то время, собственно, писатель не

¹⁸ В предисловии к пьесе Гроссман написал: «Поразмыслив, я счел, что во мне не хватит неразумного оптимизма, чтобы назвать эту пьесу целиком и полностью устаревшей, и я решился ее напечатать». Там же, с. 68.

¹⁹ Вс. Вишневский: *В редколлегии журнала «Знамя», «Культура и жизнь»* 1946, 10 окт., с. 4. Вишневский был в это время главным редактором журнала «Знамя» и, опубликовав раньше пьесу Гроссмана, теперь «покаялся» за это. Справедливости ради добавим, что произведение *Если верить пифагорейцам* было напечатано точно за месяц до известного постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»». Следовательно, осенью 1946 г. Вишневский мог сильно опасаться и за судьбу своего журнала «Знамя».

²⁰ В. Ермилов: *Вредная пьеса*. «Правда» 1946, 4 сент., с. 3.

²¹ Цит. за: Л. Лазарев: *Когда свершился суд времени*... В кн.: В. Гроссман: *Все течет*... *Поздняя проза*. Москва: Издательство „Слово/Slovo” 1994, с. 5.

только опасался ареста, но также непрестанно должен был думать, как заработать на эту иррациональную «волю к жизни», поскольку его нигде не публиковали. Именно поэтому Гроссман занялся переводами, как, например, Борис Пастернак и многие другие. Гроссман уехал в Ереван, где перевел на русский язык объемный роман одного из армянских писателей. И сразу же после завершения этой трудоемкой работы взялся за собственные книги, о чем и писал не без самоиронии:

Вчера я кончил эту костоломную работу [упомянутый „толстый перевод“], а сегодня стал писать, записывать армянские впечатления. Как Жорж Санд — в 4 утра закончила роман и, не ложась спать, начала второй. Правда, есть разница — ее печатали, а меня уж совсем трудно понять. Куда так спешить?²²

В повести *Все течет...* действие происходит в 1954–1955 годах, а главный герой — Иван Григорьевич — выходит на свободу после почти тридцати лет лагерей. Лагерная эпопея началась для него с ссылки в середине 1920-х годов в Семипалатинскую область, за то, что в университете он спорил с «историческим материализмом» — единственным в то время официальным взглядом на историю — и политической диктатурой:

В университете он в кружке по изучению философии вел жестокие споры с преподавателем диамата. Споры продолжались, пока кружок не прикрыли.

Тогда Иван выступил в аудитории против диктатуры — объявил, что свобода есть благо, равное жизни, и что ограничение свободы калечит людей подобно ударам топора, обрубающим пальцы, уши, а уничтожение свободы равносильно убийству. После этой речи его исключили из университета и выслали на три года в Семипалатинскую область.

С тех пор прошло около 30 лет, и за эти десятилетия Иван, пожалуй, не больше года был на свободе²³.

Герой, возвратясь спустя тридцать лет лагерей в Москву, а еще через несколько дней в родной Ленинград, не может найти себе места в прежнем мире, поскольку старые знакомые или родственники чувствуют себя неуютно в его обществе — кто-то из них был оппортунистом, как его двоюродный брат, московский биолог Николай Андреевич, кто-то — доносчиком, как ленинградский псевдочученый, сибарит Виталий Антонович Пинегин (это именно он своим доносом сломал когда-то жизнь университетскому товарищу Ивану). Даже любимая невеста, Аня Замковская, достаточно долго хранившая верность арестованному

²² Там же, с. 5.

²³ В. Гроссман: *Все течет... Поздняя проза*, Москва: Издательство „Слово/Slovo“ 1994, с. 283.

Ивану, в конце концов отреклась от него и ушла у другому. В любом случае, два существа, помогающие герою вновь обрести веру в человека и не потерять надежды на возрождение свободы в России — это все-таки женщины, появляющиеся рядом с ним в ключевые моменты жизни.

Одна из них — повариха Анна Сергеевна Михалева, настоящая женщина и добрый человек — могла бы совершенно спокойно быть спутницей жизни Ивана в мире за колючей проволокой, но, к сожалению, она умирает от рака легких. Другая, будучи, собственно говоря, героиней из сна, еще в лагере оказывается в объятиях Ивана, но, хотя она и любовница, почти ничего не говорит о любви, вспоминая лишь страшные времена, когда, как молоденькая девчонка, своими глазами видела преступное «раскулачивание» крестьян в российской деревне в 1929–1930 годах, а затем стала свидетельницей еще более преступного деяния — Великого голода, умышленно спровоцированного Сталиным на Украине в 1932–1933 годах.

Украинцы до сих пор должны быть благодарны Гроссману за то, что он, по сути, стал первым в мире неукраинским писателем, который, несмотря на гонения на себя и свое творчество в СССР, описал невероятное сталинское преступление по отношению к украинскому крестьянству. Украинская любовница рассказывает об этих ужасных событиях следующее:

Голодная казнь пришла. [...]

И меня как активистку послали на Украину для укрепления колхоза. У них, нам объясняли, дух частной собственности сильнее, чем в Рэсэфэсэр. И правда, у них еще хуже, чем у нас дело шло. [...]

Как было? [...]

Конечно, поставки нельзя было выполнить — площади упали, урожайность упала, откуда же его взять, море колхозного зерна? Значит — спрятали! Недобитые кулаки, лодыри. Кулаков убрали, а кулацкий дух остался. Частная собственность у хохла в голове хозяйка.

Кто убийство массовое подписал? Я часто думаю — неужели Сталин? Я думаю, такого приказа, сколько Россия стоит, не было ни разу. Такого приказа не то что царь, но и татары, и немецкие оккупанты не подписывали. А приказ — убить голодом крестьян на Украине, на Дону, на Кубани, убить с малыми детьми. Указание было забрать и семенной фонд весь. Искали зерно, как будто не хлеб это, а бомбы, пулеметы. Землю истыкали штыками, шомполами, все подполы перекопали, все полы повзламывали, в огородах искали. [...]

Чего только не ели — мышшей ловили, крыс ловили, галок, воробьев, муравьев, земляных червей копали, стали кости на муку толочь, кожу, подошву, шкуры старые вонючие на лапшу резали, клей вываривали. А когда трава поднялась, стали копать корни, варить листья, почки, все в ход пошло — и одуванчик, и лопух, и колокольчики, и иван-чай, и сныть, и борщевик, и крапива, и очиток...

Липовый лист сушили, толкли на муку, но у нас липы мало было. Лепешки из липы зеленые, хуже желудовых. [...]

Пошел по селу сплошной мор. Сперва дети, старики, потом средний возраст. Вначале закапывали, потом уж не стали закапывать. Так мертвые и валялись на улицах, во дворах, а последние в избах остались лежать. Тихо стало. Умерла вся деревня. Кто последним умирал, я не знаю. Нас, которые в правлении работали, в город забрала. [...]

Вот я тебя спрашиваю: как же это?

Вот видишь, и прошла наша ночка, уже светает. Пора нам с тобой на работу собираться²⁴.

Это, в сущности, и есть поминальный кадиш Гроссмана за убиенных крестьян на Украине и во всех других регионах Советского Союза. Термин «кадиш» не употребляется здесь мной случайно, поскольку писатель, осознавая уже свое еврейство, в повести *Все течет...* открыто говорил, что сталинский план окончательной ликвидации крестьянства на Украине и в других республиках СССР был таким же преступлением, как впоследствии гитлеровский план ликвидации евреев в Европе. А евреям Гроссман отдавал должное как в ранних военных набросках, так и в эпопее *Жизнь и судьба*, о чем будет речь позже.

Понятное дело, что опубликовать подобные рассуждения не было возможности даже во времена хрущевской оттепели, поскольку Хрущев осуждал Сталина исключительно за преступления, совершенные в отношении большевиков. Гроссман же пошел куда дальше и в своем произведении одним из первых — причем, не только в СССР — доказал, что Сталин был лишь последовательным учеником Ленина. Тот раньше, создав «синтез несвободы и социализма», подготовил почву для порабощения Сталиным уже с начала 1930-х годов огромной части Европы, Азии и Африки:

Победа Ленина стала его поражением.

Но трагедия Ленина была не только русской трагедией, она стала трагедией всемирной.

Думал ли он, что в час совершенной им революции не Россия пойдет за социалистической Европой, а таившееся русское рабство выйдет за пределы России и станет факелом, освещающим новые пути человечества?

Россия уже не впитывала свободный дух Запада. Запад зачарованными глазами смотрел на русскую картину развития, идущего по пути несвободы. [...]

Ленинский синтез несвободы с социализмом ошеломил мир больше, чем открытие внутриатомной энергии.

²⁴ Там же, с. 332–339.

Европейские апостолы национальных революций увидели пламень с Востока. Итальянцы, а затем немцы, стали по-своему развивать идеи национального социализма.

А пламя все разгоралось — его восприняла Азия, Африка.

Нации и государства могут развиваться во имя силы и вопреки свободе!

Это не была пища для здоровых, это было наркотическое лекарство неудачников, больных и слабых, отсталых и битых.

Тысячелетний русский закон развития волей, страстью, гением Ленина стал законом всемирным²⁵.

Гроссман, безусловно, видел в Ленине «черты милого, скромного русского трудового интеллигента», «чаровавшие миллионы людей». Однако он утверждал, что в истории России победила (а потом, трагическим образом повлияла на новейшую историю Западной Европы), иная, худшая сторона личности Ленина. Перевес взяли такие его черты, которые «рождены, откованы в тысячелетних глубинах русской крепостной жизни, русской несвободы». Имелась в виду „ленинская нетерпимость, напор, ленинская непоколебимость к инакомыслящим, презрение к свободе, фанатичность ленинской веры, жестокость к врагам”²⁶.

Мог ли в 1963 году кто-либо, будучи в здравом уме, надеяться, что подобные фрагменты можно будет когда-нибудь опубликовать в Советском Союзе? Ведь даже в условиях развенчивания культа личности Сталина Ленин всегда оставался, даже в умах образованной элиты, политиком с благородными намерениями, автором эпохального начинания — справедливой революции. И лишь его самозванный ученик Сталин осквернил этот благородный почин. Гроссман, конечно, считал по-другому, его взгляды разделяли Надежда Мандельштам, Александр Солженицын, Лидия Чуковская. Сегодня мыслящим рационально уже давно понятно, как все они были правы тогда.

Гроссмана часто критиковали за то, что в тысячелетней истории России он видел лишь реализацию рабства, кроме того, утверждал, что это рабство стало примером для подражания для тоталитарных режимов на Западе в первой половине XX века (нацизм в Германии, фашизм в Италии). Однако доля правды здесь лишь в том, что Гроссман действительно очень критически смотрел на «мистицизм русской души», поскольку считал, что он закоренен в тысячелетнем рабстве:

Да где же она, «русская душа, — всечеловеческая и всесоединяющая», которой предсказывал Достоевский «изречь окончательные слова великой

²⁵ Там же, с. 362–363.

²⁶ Там же, с. 363.

общей окончательной гармонии, братского окончательного согласия всех времен по Христову евангельскому закону»?²⁷

Да в чем же она, господи, эта всечеловеческая и всесоединяющая душа? Думали ли пророки России в соединенном скрежете колючей проволоки, что натягивали в сибирской тайге и вокруг Освенцима, увидеть свершение своих пророчеств о будущем всесветном торжестве русской души?²⁸

Гроссмана часто упрекали в фатализме по отношению к России, проявлявшемся, несомненно, из благих побуждений, в стремлении защитить демократические идеалы. Писателю ставили в вину неверие в то, что Россия может развиваться свободно, по-другому, чем во времена тысячелетнего рабства. Но, вопреки всему этому, Гроссман считал — без какого-либо обвинения «русской души» — что на огромном пространстве между Европой и Азией подобным образом — на рабстве — создавали бы свою историю и другие народы:

Не в душе тут дело. И пусть в эти параметры, в леса и степи, в топи и равнины, в силовое поле между Европой и Азией, в русскую трагическую огромность тысячу лет назад вросли бы французы, немцы, итальянцы, англичане — закон их истории стал бы тем же, каким был закон русского движения. Да и не одни русские познали эту дорогу. Немало есть народов на всех континентах Земли, которые то отдаленно, смутно, то ближе, ясней в своей горечи узнавали горечь русской дороги.

Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души²⁹.

Другими словами — это не «русская душа» породила рабство, а наоборот — рабство, имеющее корни в суровом географическом пространстве, породило «русскую душу». Многие народы, по утверждению писателя, проходили в своей истории через выбоины «русского пути», даже не зная о существовании России. Это был их собственный путь несвободы, рабства — путь окончательно отвергнутый во второй половине XX века. А посему и Россия имела, по мнению Гроссмана, такое же право на свободу, как и все другие подобные ей страны, прошедшие путь от рабства к освобождению. Встречаются нередко, конечно, в романе *Все течет...* очень пессимистические высказывания насчет будущего России:

Всюду в мире, где существует рабство, рождаются и подобные души.

Где же надежда России, если даже великие пророки ее не различали свободы от рабства?

²⁷ Здесь, конечно, Гроссман приводит фрагменты известной *Пушкинской речи* Достоевского, прознесенной им 8 марта 1880 г. в Москве, на открытии памятника поэту.

²⁸ В. Гроссман: *Все течет... Поздняя проза...*, с. 364.

²⁹ Там же, с. 363–364.

Где же надежда, если гении России видят кроткую и светлую красоту ее души в ее покорном рабстве?

Где же надежда России, если величайший преобразователь ее, Ленин, не разрушил, а закрепил связь русского развития с несвободой, с крепостью?

Где пора русской свободной, человеческой душе? Да когда же наступит она?

А может быть, и не будет ее, никогда не настанет? может быть, и не будет ее, никогда не настанет?³⁰.

Но даже здесь, как я считаю, нет фатализма. Ведь эра свободы, в наступлении которой действительно Гроссман-писатель нередко сомневался, открылась однако как нечто совершенно реальное осененному узнику лагеря Алексею Самойловичу. Поначалу он иронично констатировал, что знаменитая гоголевская «тройка», мчащаяся, как Россия, вперед в будущее, самым ужасным образом превратилась в СССР в печально известную сталинскую «тройку» НКВД, «что приговаривала к расстрелу, составляла списки на раскулачивание, исключала юношу из университета, не давала хлебной карточки «бывшей» — старухе»³¹... Однако позднее на смену подобного рода размышлениям неизвестно откуда к Алексею Самойловичу пришла светлая надежда:

Но облегчение пришло совсем с другой стороны: меня снова потащили на допрос, отдышаться не дали. И легче стало. И я верю в неминувость свободы. К черту птицу-тройку, ту, что летит, гремит и подписывает приговора. Свобода соединится с Россией!³².

Поэтому никто у Гроссмана не осужден неизбежно на вечное рабство — ни жертвы, ни их убийцы, ни один народ или страна. Люди, оставаясь людьми, «хотели они того или нет — они не давали умереть свободе, и даже самые страшные из них берегли ее в своих страшных, исковерканных и все же человеческих душах»³³... Повесть *Все течет*... впервые была опубликована в 1970 году во Франкфурте на Майне, а начиная с заката «перестройки» (1989) она выходит также и в России, хотя и до сих пор не оценена еще по достоинству ни читательской аудиторией, ни литературной критикой.

Посвящается матери

Однако наиболее значительное произведение Гроссмана — это эпопея *Жизнь и судьба*, шедевр на почти 900 страницах, только совсем недавно

³⁰ Там же, с. 364.

³¹ Там же, с. 374.

³² Там же, с. 375.

³³ Там же, с. 377.

опубликованный впервые по-польски в великолепном переводе Ежи Чеха³⁴. Если, к сожалению в сегодняшней России Гроссмана почти не читают, то, давайте, прочтем его внимательно хотя бы в Польше. Это будет своеобразная дань уважения писателю, который даже в самые трудные моменты своей жизни — после публикации романа *За правое дело* (1952), и после изъятия рукописи *Жизни и судьбы* (1960) — никогда не забывал о поляках.

Впервые Гроссман упоминает о Польше в том фрагменте *Жизни и судьбы*, когда в немецком концлагере старый большевик и коминтерновец Михаил Сидорович Мостовский и недавний меньшевик Чернецов, покинувший в 1921 году Советскую Россию и прошедший 20 лет в эмиграции в Париже (он оказался в лагере «за призыв к служащим банка саботировать распоряжения новой немецкой администрации»), ожесточенно спорят о действиях Красной Армии начиная с 17 сентября печального 1939 года:

Но Михаил Сидорович всерьез рассердился. [...] Здесь лагерные англичане, французы, поляки, норвежцы, голландцы в нас верят! Спасение мира в наших руках! В силе Красной Армии! Она армия свободы!

— Так ли, — перебил Чернецов, — всегда ли? А захват Польши по сговору с Гитлером в тридцать девятом году? А раздавленные вашими танками Латвия, Эстония, Литва? А вторжение в Финляндию? Ваша армия и Сталин отнимали у малых народов то, что дала им революция. А усмирение крестьянских восстаний в Средней Азии? А усмирение Кронштадта? Все это для ради свободы и демократии?³⁵

Возможно, с перспективы сегодняшнего дня вопросы меньшевика Чернецова должны звучать риторически. Однако разве не являются они актуальными в условиях, когда в 2008 году значительное число граждан Российской Федерации в опросе-голосовании «Имя России» назвало Сталина главным — после овечьего легендами жившего в XIII веке князя Александра Невского — национальным героем тысячелетней истории Руси и России? Воззрения благородного меньшевика Чернецова позволяют заметить, насколько близок он самому Гроссману — безусловно, Гроссману образца второй половины 1950-х годов, создавшему свои наиболее значительные произведения, поскольку именно после 1956 года он мог сказать, что понял всё³⁶.

³⁴ W. Grossman: *Życie i los*. Z przedmową A. Pomorskiego. Przeł. J. Czech. Warszawa: Wydawnictwo WAB 2009.

³⁵ В. Гроссман. *Жизнь и судьба*. В трех книгах. Москва: ТЕРРА — Книжный клуб 2005, т. 1, с. 314.

³⁶ Другим таким персонажем является Виктор Штрум — талантливый физик, который написал революционную для науки книгу, но был уничтожен завистливыми

С польской перспективы чрезвычайно интересен еще один фрагмент эпопеи, когда немцы схватили под Сталинградом большевика Михаила Мостовского и преправляют его поездом в Германию в концлагерь:

Когда поезд шел по территории польского генерал-губернаторства, в купе появился новый пассажир — польский епископ, седой, высокий красавец с трагическими глазами и пухлым юношеским ртом. Он тотчас стал рассказывать Мостовскому о расправе, учиненной Гитлером над польским духовенством. Говорил он по русски с сильным акцентом. После того как Михаил Сидорович обругал католичество и папу, он замолчал и на вопросы Мостовского отвечал кратко, по-польски. Через несколько часов его высадили в Познани³⁷.

Напрашивается, пусть даже наивный, вопрос: встретил ли сам военный корреспондент Гроссман подобного польского епископа? И этот вопрос вовсе не празден, поскольку писатель чаще всего описывал в своих произведениях то, что видел сам. И хотя он всегда умел писать, тем не менее, не любил «литературности», его трудная проза может казаться даже неинтересной — настолько сильно связана она с жизнью и страданиями, настолько лишена прикрас и «орнаментальности».

Где-то в подтексте упомянутой сцены с епископом угадывается Папа Римский Пий XI, который 8 февраля 1930 года в письме кардиналу Базилию Помпили резко осудил преследования на религиозной почве в СССР, а 14 марта 1937 года в энциклике *Divini Redemptoris* (лат. *Божественного искупителя*) решительнейшим образом осудил «безбожный коммунизм». В сталинской Стране Советов это вызвало волну критики — папу и католиков в Москве заклеили позором.

коллегами как «антимарксист». Подобным образом и Гроссман был назван врагом в 1952 году, сразу же после публикации романа *За правое дело*. Если бы не смерть Сталина, неизвестно, не попал бы Гроссман вместе с другими евреями на скамью подсудимых за наиболее тяжкие преступления. С другой стороны, нет параллелей с биографией Гроссмана в эпизоде со звонком Сталина Виктору Штруму, после чего жизнь физика чудесным образом изменилась, как по мановению волшебной палочки. Читателю даже доставляет удовольствие тот факт, что завистливые коллеги Штрума в конце концов были унижены (хотя бы и таким способом)... Можно предполагать, что писатель намекает в данном случае на знаменитый телефонный звонок Сталина Булгакову 8 апреля 1930 года. Тогда, таким же образом, в судьбе автора *Белой гвардии* произошли огромные изменения, начали, наконец, ставить его пьесы... Следует также добавить, что, создавая образ физика Виктора Штрума, Василий Гроссман платил по счетам собственной слабости. Герой романа подписал позорное письмо, осуждающее еврейских «врачей-вредителей». Гроссман также, к сожалению, подписал подобный документ, полагая, что «ценой смерти нескольких человек можно будет спасти несчастный народ [очевидно, еврейский — Г.П.]. До конца жизни он казнил себя за этот поступок». — Так, по крайней мере, утверждает его приятель, Семен Липкин. Ср. С. Липкин: *Жизнь и судьба Василия Гроссмана...*, с. 32–33.

³⁷ Там же, с. 9.

Поэтому Мостовский повторял лишь то, что ранее можно было прочесть в газетах.

Прежде всего, удивляет — в положительном смысле — сочувствие, испытываемое рассказчиком (это «альтер эго» самого Василия Гроссмана, русского еврея) в *Жизни и судьбе* по отношению к польскому католическому епископу. Как же должен был чувствовать себя этот израненный безымянный иерарх, когда русский, которого он считал уже товарищем по несчастью, нанес удар по тому, что для него было наиценнейшим? И если поначалу епископ разговаривал с Мостовким на его языке, пусть и коверкая слова, то потом и вовсе замолчал. Вновь появляются вопросы: что стало потом? В какой нацистский лагерь попал католический епископ? Погиб он или выжил?

Гроссман в своей эпопее сумел прямо напомнить о справедливости на уровне международных отношений, требуя ее не только для своих народов (а он был в равной степени и евреем, и русским), но и для всякой любой другой нации. Особенно, если она на протяжении своей истории подвергалась несправедливым действиям со стороны более сильных соседей. Поэтому он защищает литовцев, украинцев, белорусов, латышей, эстонцев, черкесов, венгров, финнов, евреев, немцев, русских, поляков. Произносит своеобразную речь в защиту свободы, ссылаясь на недавние бунты всех названных народов против тирании:

Вот великое восстание в Варшавском гетто, в Трешлинке и Собиборе и огромное партизанское движение, полыхавшее в десятках поработанных Гитлером стран, послесталинские Берлинское восстание в 1953 году и Венгерское восстание 1956 года, восстания, охватившие сибирские и дальневосточные лагеря после смерти Сталина, возникшие в ту же пору польские волынки, студенческое движение протеста против подавления свободы мысли, прокатившееся по многим городам, забастовки на многих заводах показали неистребимость присущего человеку стремления к свободе. Оно было подавлено, но оно существовало. Человек, обращенный в рабство, становится рабом по судьбе, а не по природе своей³⁸.

Советское государство еще во время Второй мировой войны ввело в личную анкету знаменитую пятую графу, в которой нужно было указать свою национальность:

Национальность... Вот и пятый пункт. Такой простой, не значащий в довоенное время и какой то чуть-чуть особенный сейчас.

Штрум, нажимая на перо, решительными буквами написал: «еврей». Он не знал, что будет вскоре значить для сотен тысяч людей ответить на пятый вопрос анкеты: калмык, балкарец, чеченец, крымский татарин, еврей...³⁹.

³⁸ Там же, с. 215.

³⁹ В. Гроссман: *Жизнь и судьба*..., т. 2, с. 281.

Гроссман, однако, уже знал, что это значило: после войны он стал свидетелем высылки целых народов в отдаленные регионы СССР. Злой рок ожидал чеченцев, крымских татар, калмыков, балкаров, евреев... Один из современников Гроссмана, талантливый, кстати, писатель Аркадий Первенцев в забытом сегодня романе *Честь молодцу* (1946–1948; Сталинская премия в 1949 году) назвал всех крымских татар нечестной нацией, неблагодарной по отношению к советской власти, нацией изменников⁴⁰.

В эпопее *Жизнь и судьба* действия разворачиваются во время Второй мировой войны, в период сталинградской битвы 1942–1943 годов. В произведении представлена необычайно обширная галерея человеческих образов, многие из которых срисованы с реальных прототипов (Гроссман частично использовал в качестве образца *Войну и мир* Льва Толстого). Действие происходит в различных частях Европы, между которыми тысячи километров — от Германии до Урала. Первый фрагмент произведения рассказывает о людях и нацистском лагере в Германии. В одной из последующих «новелл» показаны образы узников сталинского лагеря. Представлены в произведении и события, разворачивающиеся под Сталинградом в ключевой момент истории Европы и всего цивилизованного мира. Гроссман задавался вопросом: как могло случиться, что народ, победивший в этой страшной войне, после ее окончания оказался в еще большем рабстве, а проигравшая Германия стала демократической? В романе описаны также события, происходящие в Казани (Татария), Уфе (Башкирия), Самаре на Волге, в прикавказских калмыцких степях, в Киеве — «матери городов русских», где хозяйничают немцы. Нашлось в книге место и для никогда не покоренного врагом Урала, и для Бердичева, где в еврейском гетто погибла горячо любимая мать Гроссмана, учившая его в детстве читать в оригинале французских писателей.

⁴⁰ «Тем более мерзко, отвратительно, неблагодарно, что многие крымские татары изменили советской власти. При советской власти крымские татары получили республику, братское содружество русского и других народов СССР, свободу от эксплуатации. Советская власть подняла этот народ, поставила на ноги, дала все для развития, для настоящей жизни. А они послушались своих злейших врагов и качали массовое предательство... Изменили общему делу... [...] Многие крымские татары [...] по наущению немецких агентов вступили в организованные немцами добровольческие отряды, ведут вооруженную борьбу вместе с немецкими войсками против Красной Армии, против партизан. Как можно продавать свою совесть, свою страну? Ведь большинство населения крымских татар не оказывает противодействия этим предателям родины, помогает им, и тем самым весь народ теряет свою честь... А если потерял честь, значит потерял все» — А. Первенцев: *Честь молодцу*. Москва: Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия» 1950, с. 573–574.

Одним из фрагментов произведения, производящих наиболее сильное впечатление, является письмо матери Виктора Штрума из занятого немцами Бердичева. Она понимает, что вскоре ей предстоит погибнуть вместе с остальными. Создавая образ этой героини, Гроссман отдавал дань уважения памяти собственной матери. Всю свою жизнь он винил себя, что не смог ее спасти от нацистских палачей, не знал даже, как она погибла и где была предана земле:

Знаешь, Витенька, что я испытала, попав за проволоку? Я думала, что почувствую ужас. Но, представь, в этом загоне для скота мне стало легче на душе. Не думай, не потому, что у меня рабская душа. Нет. Нет. Вокруг меня были люди одной судьбы, и в гетто я не должна, как лошадь, ходить по мостовой, и нет взоров злобы, и знакомые люди смотрят мне в глаза и не избегают со мной встречи. В этом загоне все носят печать, поставленную на нас фашистами, и поэтому здесь не так жжет мою душу эта печать. Здесь я себя почувствовала не бесправным скотом, а несчастным человеком. От этого мне стало легче. [...]

Боже мой, какая нужда вокруг! Если бы те, кто говорят о богатстве евреев и о том, что у них всегда накоплено на черный день, посмотрели на наш Старый город. Вот он и пришел, черный день, чернее не бывает. Ведь в Старом городе не только переселенные с 15 килограммами багажа, здесь всегда жили ремесленники, старики, рабочие, санитарки. В какой ужасной тесноте жили они и живут. Как едят! Посмотрел бы ты на эти полуразваленные, вросшие в землю хибарки. [...]

Но я хочу тебе сказать и о другом. Я никогда не чувствовала себя еврейкой, с детских лет я росла в среде русских подруг, я любила больше всех поэтов Пушкина, Некрасова, и пьеса, на которой я плакала вместе со всем зрительным залом, съездом русских земских врачей, была «Дядя Ваня» со Станиславским. А когда то, Витенька, когда я была четырнадцатилетней девочкой, наша семья собралась эмигрировать в Южную Америку. И я сказала папе: «Не поеду никуда из России, лучше утоплюсь». И не уехала.

А вот в эти ужасные дни мое сердце наполнилось материнской нежностью к еврейскому народу. Раньше я не знала этой любви. Она напоминает мне мою любовь к тебе, дорогой сынок. [...]

В соседнем доме живет девушка из Польши. Она рассказывает, что там убийства идут постоянно, евреев вырезают всех до единого, и евреи сохранились лишь в нескольких гетто — в Варшаве, в Лодзи, Радоме. И когда я все это обдумала, для меня стало совершенно ясно, что нас здесь собрали не для того, чтобы сохранить, как зубров в Беловежской пуще, а для убоя. По плану дойдет и до нас очередь через неделю, две. Но, представь, понимая это, я продолжаю лечить больных и говорю: «Если будете систематически промывать лекарством глаза, то через две три недели выздоровеете»⁴¹.

Именно матери, Екатерине Савельевне, убитой нацистами в Бердичеве, посвятил Гроссман свою эпопею *Жизнь и судьба*.

⁴¹ В. Гроссман: *Жизнь и судьба...*, т. 2, с. 77–81.

Сизиф против большевиков и нацистов

Когда в 1960 году Гроссман отдал роман *Жизнь и судьба* для публикации в московский журнал «Знамя», шокированные редакторы сразу передали рукопись в КГБ. В доме писателя прошел обыск, два экземпляра романа были конфискованы, однако, слава Богу, во времена Хрущева за подобные произведения уже не расстреливали. Гроссман, будучи человеком мужественным, при первом удобном случае в 1961 году написал письмо Никите Хрущеву, спрашивая, нельзя ли все-таки напечатать роман в атмосфере всеобщей надежды, рожденной XX и XXII Съездами КПСС (1956 и 1961 годы). Хрущев хранил молчание, а Михаил Суслов, пригласив писателя к себе, утверждал, что подобные произведения будут публиковаться в СССР не ранее, чем через 200–250 лет. К счастью, предусмотрительный Гроссман сохранил другие экземпляры своего труда, не попавшие в казематы КГБ. Избежавшая конфискации рукопись, благодаря стараниям Семена Липкина, Владимира Войновича, Андрея Сахарова, была вывезена на Запад и опубликована в Лозанне в 1980 году. После этой публикации Василий Гроссман был признан писателем, благодаря которому в литературе возродились традиции великого русского гуманизма, имеющие свое начало во второй половине XIX века. Наконец-то он — пусть и посмертно — оказался в одном ряду с великими творцами русской литературы XX века — Борисом Пастернаком, Михаилом Булгаковым, Александром Солженициным, Владимиром Набоковым, Варламом Шаламовым, Иваном Буниним, Андреем Платоновым и Исааком Бабелем.

* * *

Панорама человеческих судеб в романе делает его чтение чрезвычайно трудным, особенно если кто-то стремится внимательно и до мелочей проследить жизненный путь главных действующих лиц, понаблюдать за событиями в их жизни, за ежедневной суетой обычных дел. Ведь для писателя были важны не только мировоззрения его персонажей, их участие в великих битвах, страдания в различных лагерях. Гроссман не упростил задачу, поставленную перед читателем, еще и тем, что о прошлом большинства своих героев различных национальностей, социального происхождения и мировоззрений рассказал уже в первой части «сталинградской диалогии» — в романе *За правое дело*. И вот мы встречаем этих героев снова. Появляются также и новые персонажи, на-

пример, отец Гарди, католический священник-итальянец, сохраняющий в немецком концентрационном лагере чувство собственного достоинства. Так, старый большевик Мостовский наблюдал, как тот молится, преклонив колени, внимательно вслушивался в слова о милосердии Бога и Мадонны. Отец Гарди умеет говорить со всеми, даже с неверующими, он живо интересуется судьбой православных в СССР:

Он никогда не укорял старого русского коммуниста за безбожие, часто расспрашивал его о Советской России.

Итальянец, слушая Мостовского, кивал головой, как бы одобряя рассказы о закрытых церквях и монастырях, об огромных земельных угодьях, забранных Советским государством у Синода⁴².

Среди персонажей Гроссмана — и трусы, и оппортунисты, но есть и обычные люди, герои, старые и молодые коммунисты, бывшие «коминтерновцы», «меньшевики», «эсэры», настоящие солдаты и сталинские фронтовые комиссары, зэки и узники концлагерей, матери, навсегда потерявшие сыновей, жены, чьи мужья были арестованы, а сами они ушли к другим. Есть девушки, едва встретившие свою первую любовь, как ее тут же отнимает война, отнимает раз и навсегда. Есть физики и биологи, ленинцы, сталинцы и антисталинцы, люди всех национальностей, чья «жизнь» была, к сожалению, отмечена и искалечена фатальной «судьбой».

Что же значит оппозиция, вынесенная Гроссманом в название — жизнь и судьба? Без сомнения, «судьба» — молох, гегелевский «Мировой дух» (Weltgeist) или марксистско-ленинская «классовая борьба», перемальвающие «жизнь» отдельной Личности. «Судьба» — фатум, но, увы, поощряемый конкретными людьми, воплощенный как в личностях тиранов XX века, так и в фигурах не ведающих, что творят, их помощников. Фатум, создаваемый покорностью и пассивностью целых народов или отдельных людей. А вот «жизнь», нередко становящаяся узницей этой «судьбы», вопреки всему, очень часто вдохновлена «свободой». Все это напоминает известную оппозицию из *Фауста*: «Теория, мой друг, суха, // Но зеленеет жизни древо»⁴³.

Однако, позиция Гроссмана лучше всего ассоциируется с героическим Сизифом, каким видел его Альбер Камю:

Нам неизвестны подробности пребывания Сизифа в преисподней. Мифы созданы для того, чтобы привлекать наше воображение. Мы можем предста-

⁴² Там же, т. 1, с. 11.

⁴³ Б. Пастернак: *Собрание сочинений в пяти томах*. Т. 3: *Иоганн Волфганг Гете. Фауст. Трагедия*. Москва: Терра — Книжный клуб 2003, с. 65.

вить только напряженное тело, силящееся поднять огромный камень, покатить его, взобраться с ним по склону; видим сведенное судорогой лицо, прижатую к камню щеку, плечо, удерживающее покрытую глиной тяжесть, оступающую ногу, вновь и вновь поднимающие камень науки с измазанными землей ладонями. В результате долгих и размеренных усилий, в пространстве без неба, во времени без начала и до конца, цель достигнута. Сизиф смотрит, как в считанные мгновения камень скатывается к подножию горы, откуда его опять придется поднимать к вершине. Он спускается вниз⁴⁴.

Сам Гроссман, как и Камю, до конца жизни остался героическим атеистом.

Добро и доброта

Ключ к пониманию послания *Жизни и судьбы* находится в самом центре этого произведения — во фрагменте о Добре, которое, вопреки желанию, в исторической перспективе неоднократно приводило к ужасающему злу. Один из любимейших героев Гроссмана, Иконников-Морж, говорил:

Я видел великие страдания крестьянства, а коллективизация шла во имя добра. Я не верю в добро, я верю в доброту. [...] Спросите Гитлера [...] и он вам объяснит, что и этот лагерь ради добра⁴⁵.

Иконников в молодости был толстовцем, а в концентрационном лагере его считали современным безумцем Божьим (в Древней Руси таких людей называли юродивыми):

Когда началась война и немцы захватили Белоруссию, Иконников увидел муки военнопленных, казни евреев в городах и местечках Белоруссии. Он вновь впал в какое то истерическое состояние и стал умолять знакомых и незнакомых людей прятать евреев, сам пытался спасти еврейских детей и женщин. На него вскоре донесли, и, каким то чудом избегнув виселицы, он попал в лагерь⁴⁶.

В лагере «юродивый» Иконников вел себя как святой, героически отказался участвовать в строительстве лагеря смерти, за что и был убит на месте охранником. Но перед этими трагическими событиями он успел написать философский трактат о Добре и Зле, не только органически вплетенный в канву романа, но (как и фрагмент *Великий*

⁴⁴ А. Камю: *Миф о Сизифе* <http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Kamu/Kamu_Sizif.php>.

⁴⁵ В. Гроссман: *Жизнь и судьба*..., т. 1, с. 15.

⁴⁶ Там же, с. 14.

инквизитор в *Братьях Карамазовых* у Достоевского) могущий восприниматься как вершина русской философской мысли:

И иногда само понятие такого добра становилось бичом жизни, большим злом, чем зло. [...]

Что принесло людям это учение мира и любви?

Византийское иконоборство, пытки инквизиции, борьба с ересями во Франции, в Италии, Фландрии, Германии, борьба протестантизма и католицизма, коварство монашеских орденов, борьба Никона и Аввакума, многовековый гнет, давивший на науку и свободу, христианские истребители языческого населения Тасмании, злодеи, выжигавшие негритянские деревни в Африке. Все это стоило большего количества страданий, чем злодеяния разбойников и злодеев, творивших зло ради зла... [...]

Множество книг написано о том, как бороться со злом, о том, что же зло и что добро.

Но печаль всего этого бесспорна — и вот она: там, где поднимается заря добра, которое вечно и никогда не будет побеждено злом, тем злом, которое тоже вечно, но никогда не победит добра, там гибнут младенцы и старцы и льется кровь. Не только люди, но и Бог бессилен уменьшить зло жизни. [...]

Я увидел непоколебимую силу идеи общественного добра, рожденной в моей стране. Я увидел эту силу в период всеобщей коллективизации, я увидел ее в 1937 году. Я увидел, как во имя идеала, столь же прекрасного и человеческого, как идеал христианства, уничтожались люди. Я увидел деревни, умирающие голодной смертью, я увидел крестьянских детей, умирающих в сибирском снегу, я видел эшелоны, везущие в Сибирь сотни и тысячи мужчин и женщин из Москвы, Ленинграда, из всех городов России, объявленных врагами великой и светлой идеи общественного добра. Эта идея была прекрасна и велика, и она беспощадно убила одних, исковеркала жизнь другим, она отрывала жен от мужей, детей от отцов. [...]

Ныне великий ужас германского фашизма встал над миром. Вопли и стоны казненных заполнили воздух. Небо стало черным, погашено солнце в дыму кремационных печей.

Но и эти невиданные не только во всей Вселенной, но даже человеком на земле преступления творятся во имя добра. [...]

Добро не в природе, не в проповеди вероучителей и пророков, не в учениях великих социологов и народных вождей, не в этике философов... И вот обыкновенные люди несут в своих сердцах любовь к живому, естественно и непроизвольно любят и жалеют жизнь, радуются теплу очага после трудового дня работы и не зажигают костров и пожаров на площадях.

И вот, кроме грозного большого добра, существует житейская человеческая доброта. Это доброта старухи, вынесшей кусок хлеба пленному, доброта солдата, напоившего из фляги раненого врага, это доброта молодости, пожалевшей старость, доброта крестьянина, прячущего на сеновале старика еврея. Это доброта тех стражников, которые передают с опасностью для собственной свободы письма пленным и заключенным не товарищам по убеждениям, а матерям и женам⁴⁷.

⁴⁷ Там же, т. 2, с. 93–96.

Так отдавал дань памяти всем живым и умершим Василий Гроссман, которому не обязательно было верить в Бога, чтобы творить добро, а лучше сказать – поступать прилично.

Перевод с польского *Дмитрий Клебанов*

Grzegorz Przebinda

SOKRATES Z BERDYCZOWA. ŻYCIE I LOS WASILIJA GROSSMANA

Streszczenie

Celem artykułu jest opisanie sylwetki twórczej Wasyla Grossmana (1905–1964), rosyjskiego Żyda urodzonego w Berdyczowie (obecnie Ukraina), który wszedł do historii jako autor dwóch powieści, mogących być uważanych za arcydzieła rosyjskiej literatury XIX i XX wieku. Pierwszy utwór — *Wszystko płynie...* — został napisany w latach 1955–1963, a drugi — *Życie i los* — po wieloletniej nad nim pracy został wreszcie ukończony w 1960. Ta ostatnia powieść, jeszcze niewydana, została natychmiast skonfiskowana przez KGB, a Michał Susłow, główny w owych czasach ideolog KPZR, poinformował Grossmana, że takie utwory jak *Życie i los* będą mogły być publikowane w ZSRR dopiero za 200 lat. Tymczasem jednak po znacznie wcześniejszej publikacji obu dzieł na Zachodzie we Frankfurcie i Lozannie (1970 i 1980) świat usłyszał wreszcie o rosyjskim powieściopisarzu, który nawiązywał do wielkiej literackiej i filozoficznej tradycji humanistycznej Rosji XIX w. — do dzieła Lwa Tołstoja, Fiodora Dostojewskiego i Antona Czechowa. Można być przekonany, że opublikowany w 2009 roku pierwszy polski przekład *Życia i losu*, dokonany przez Jerzego Czecha na stałe już wpisze dzieło Grossmana także w polską kulturę, obok takich najważniejszych pisarzy Europy, jak Tomasz Mann, Franz Kafka, Albert Camus, Michał Bułhakow i Aleksander Solżenicyn. Używając w tytule artykułu określenia „Sokrates z Berdyczowa”, pragnęłam podkreślić, że Grossman poszukiwał w swoim życiu i twórczości nie tyle abstrakcyjnego Dobra i Prawdy, co konkretnych przejawów „dobroci”, które miała leczyć i wyzwalać ludzkie dusze. Pisarz zawsze popierał indywidualnego człowieka, walczył o konkretną ludzką istotę i jej „życie”, bronił każdej osoby i wszystkich narodów Europy przed zniewalającym Molochem — „losem”.

Grzegorz Przebinda

SOCRATES FROM BERDICHEV. LIFE AND FATE OF VASILY GROSSMAN

Summary

The aim of this paper is to describe the creative profile of Vasily Grossman (1905–1964), a Russian Jew born in Berdichev (in present-day Ukraine), who had made a history as the author of two novels which I both consider to be masterpieces of Russian literature in 19th and 20th century. The first work — *Everything Flows...* — was written in the period between 1955 and 1963, the second one — *Life and Fate* — was finished in 1960. The latter was promptly confiscated and totally erased by the KGB. Mikhail Suslov — the main ideologist

of the Communist Party by that time — informed Grossman that such works will gain right to exist in Soviet Union within two hundred years time and no sooner. Both of the novels have actually been published in the West (in Frankfurt and Lausanne). The world has then heard about the superb Russian novelist, bringing back the tradition of humanistic 19th century writers such as Tolstoy, Dostoyevsky and Chekhov. I do believe that Jerzy Czech's translation into Polish language will establish *Life and Fate*'s position in Polish culture as one of the greatest European novels of the 20th century which may easily be compared to most significant works of Mann, Kafka, Camus, Bulgakov and Solzhenitsyn. When using the expression "Socrates from Berdichev" what I meant was to emphasize Grossman's constant search of not so much the Truth and Good but rather of the Goodness which heals and liberates human soul. He always supported and fought for the specific human being and its existence, defending it from the fate impending on citizens and societies.